

Geoghegan, B. D. Code: from information theory to French theory

Durham: Duke university press. 2022. — 272 p.

Кибернетика представляет собой не просто науку об информации и управлении, а одно из наиболее масштабных междисциплинарных направлений XX века, предпринявшее попытку стереть барьеры между областями знания, которые, казалось бы, имели мало точек соприкосновения. Возникнув в 1940-е годы как ответ на ужасы войны, нарастающее неравенство, политические и экономические кризисы, кибернетика предложила концепции, способные решать проблемы ненасильственными методами. Пожалуй, ни одно другое научное направление не смогло ни до, ни после объединить социологов и инженеров, математиков и психологов, антропологов и биологов, предоставив им возможность говорить на общем языке. В этой связи особенно интересным представляется то, каким образом язык кодов и сигналов на несколько десятилетий стал *lingua franca* своей эпохи. Книга Бернарда Гейгена «Код» предлагает рассмотреть историю наук о коде через связку развития кибернетики и теории информации и их поддержки со стороны американских капиталистов-филантропов. В центре исследования — не просто хронология открытий, а политический и институциональный контекст, который сделал возможным превращение кибернетики из узкой инженерной дисциплины в универсальный язык гуманитарных наук. В книге прослеживается, как технократические утопии первой половины века парадоксальным образом воплотились во французской теории десятилетия спустя.

О чём книга?

Рождение кибернетики принято отсчитывать с выхода книги «Кибернетика» Норберта Винера в 1948 году или с проведения знаменитых конференций Мэйси в конце 1940-х — начале 1950-х годов. Бернард Гейген предлагает пересмотр этой устоявшейся хронологии, показывая, что зачатки кибернетического мышления сформировались гораздо раньше — в антропологических исследованиях Маргарет Мид и Грегори Бейтсона в довоенные 1930-е годы (С. 46–47). Особое внимание Гейген уделяет их экспедиции на Бали (1936–1939), где впервые были применены методы систематической фото- и кинофиксации для выявления повторяющихся культурных паттернов. Этот подход, задокументированный в книге 1942 года «Балийский

характер», заложил концептуальную основу для будущего языка кодов и сигналов задолго до того, как математики придали ему строгую форму (С. 56). Дальнейшие исследования Грегори Бейтсона в Пало-Альто привели к переносу этих методов с исследований туземных племён на анализ коммуникации в семьях пациентов психиатрических клиник (asylums) (С. 56–57). Кибернетика рождалась в полевых экспедициях и больницах, где власть над человеком достигает предела. Сам Виннер писал, что новая наука вступает в мир, где уже «существуют Берген-Бельзен и Хиросима», а его коллега Уоррен Маккалох призывал учёных построить общество с достаточной обратной связью, чтобы предотвратить новый, возможно последний, мировой холокост (С. 1–2). Таким образом, колония, клиника и лагерь — замкнутые пространства (enclosures) — предоставили идеальные модели для теоретизирования общества в терминах кода (С. 1). Эти идеи нашли активную поддержку со стороны американских научно-филантропических фондов, которые стремились технократическими методами решать социальные и политические проблемы индустриального мира (С. 21–24). Как замечает Гейген, ключевым преимуществом кибернетического подхода была его кажущаяся нейтральность и аполитичность: концепции сигналов, адресантов и адресатов, обратной связи и двойного послания выглядели как строгий научный инструментарий для диагностики и настройки любых систем — от семьи до государства, — что оказывалось предпочтительнее «анархии и коммунизма» (С. 24).

В первой главе он описывает, как фонды баронов-разбойников, начиная с 1920-х годов, планомерно инвестировали в развитие науки. За их филантропическими действиями лежало предостережение, что научная и беспристрастная экспертиза способна решить социальные проблемы, не меняя при этом политические и экономические основания. Например, найти возможность побороть неравенство, не нарушая гарантии частной собственности. В это время начиналось финансирование новых лабораторий в MIT, в том числе строительство дифференциального анализатора — огромного аналогового компьютера, вокруг которого сформировалось сообщество будущих кибернетиков (С. 30–31). Фонды поддерживали не просто инженерные разработки, а целую программу превращения гуманитарных наук в «социальную технологию», которые могли бы переводить политические проблемы в технические (С. 26–27). К 1940-м годам эта стратегия привела к возникновению тесных связей между антропологами, психиатрами и инженерами на конференциях Мэйси, где оттачивался общий язык кодов и сигналов (С. 40–45).

Во второй главе прослеживается, как методы, первоначально отработанные Мид и Бейтсоном на острове Бали, были впоследствии перенесены на изучение психических расстройств в послевоенной Америке. Между экспедицией и этой работой Бейтсон успел приме-

нить свои навыки в военной разведке, занимаясь анализом вражеской пропаганды для Управления стратегических служб, что он сам рассматривал как упражнение в кибернетической обратной связи (С. 66–67). После войны США столкнулись с кризисом психического здоровья среди вернувшихся ветеранов, и кибернетика предложила новый язык для его описания (С. 69–70). Получив финансирование от Фонда Рокфеллера и Фонда Мэйси, Бейтсон основал Пало-Альтскую группу, которая начала изучать коммуникацию в семьях психически больных, перенося методы, отработанные в колониальных исследованиях, в клиники и пригородные дома Калифорнии (С. 76–77).

В третьей главе речь идёт о том, как бежавшие от войны европейские интеллектуалы обустроивались в США и адаптировали структурную лингвистику к языку кибернетики и теории информации. Среди них был русский лингвист Роман Якобсон, который в 1941 году добрался до Нью-Йорка как лицо без гражданства. При поддержке Фонда Рокфеллера он получил возможность преподавать в Новой школе социальных исследований и вскоре основал Нью-Йоркский лингвистический кружок, ставший площадкой для диалога между европейскими структуралистами и американскими инженерами связи (С. 85, 95–96). Символической сценой стал визит этого кружка в лаборатории AT&T в 1944 году, где лингвисты увидели в синтезаторе речи Voder техническое воплощение своих идей о языке как комбинации дискретных элементов (С. 85–90). Получив финансирование от Фонда Рокфеллера, Якобсон в 1950-е годы развернул проект по описанию современного русского языка, который мыслился не только как научный прорыв, но и как инструмент идеологической борьбы с советским «врагом» в условиях Холодной войны (С. 98–102). Якобсон занял профессорскую кафедру в Гарварде и одновременно вошёл в штат Исследовательской лаборатории электроники MIT (Research Laboratory of Electronics), где работал бок о бок с инженерами и математиками, превращая фонематический анализ в информационную задачу (С. 100). Бернард Гейген показывает, как структурная лингвистика становится неотъемлемой частью кибернетики, где язык описывался через коды, вероятностные цепочки и двоичные оппозиции. Однако в сердце этого проекта сохранялось напряжение: поэтическая функция языка, с её двусмысленностью, сопротивлялась полному подчинению кибернетическому контролю, что стало отголоском русского футуризма. (С. 102–106).

В центре четвёртой главы оказывается ключевой для всей книги вопрос: как идеи американских кибернетиков повлияли на французскую теорию. Связующим звеном стал Клод Леви-Стросс — ещё один европейский беженец, который прибыл в Нью-Йорк в 1941 году, спасаясь от режима Виши. Он также оказался в Свободной школе высших исследований — «университете в изгнании», созданном при поддержке Фонда Рокфеллера (С. 114–115). Именно там Якобсон познакомил

его со структурной лингвистикой, методы которой Леви-Стросс перенёс в антропологию. В этот момент происходит переход от антропологии как коллекционирования артефактов к антропологии, где родство, мифы, обмен можно анализировать через коды (С. 107–108). В 1960 году Леви-Стросс основал Лабораторию социальной антропологии — «фабрику знания», оснащённую перфокартами и гигантской базой данных Human Relations Area Files, которая систематизировала этнографические знания всего мира и имела имперское происхождение (использовалась ВМС США для составления стратегических справочников) (С. 128–132). Под влиянием кибернетики Леви-Стросс стал рассматривать общество как систему коммуникации, где циркулируют слова, товары и женщины, но увидел в этом не только прогресс, но и угрозу, предложив переименовать антропологию в «антропологию» — науку о культурном распаде, где глобальная коммуникация стирает различия (С. 126). Уже вернувшись в Париж, антрополог вновь получал крупные суммы от американских научных фондов и основал шестую секцию факультета, которую Бурдьё назвал американским шпионским анклавом. На критику слева, обвинявшую структурализм в службе американскому империализму, Леви-Стросс отвечал в духе технократической нейтральности, однако сам отказ от политических дебатов в пользу «прохладного анализа» систем в лаборатории был глубоко политическим жестом (С. 131–132).

Отдельно стоит упомянуть сюжет с Марселем Моссом, который еще в 1926 году ездил в США читать лекции на деньгах американских предпринимателей (С. 111). Фонд Рокфеллера стремился привлечь его на свою сторону, рассчитывая реформировать французскую социальную науку в технократическом ключе. Однако их взгляды на общество принципиально расходились. Мосс, племянник и наследник Эмиля Дюркгейма, придерживался холистского подхода, где общество мыслилось как целое, не сводимое к сумме индивидов. В своем «Очерке о даре» он прямо критиковал либеральную утопию, где социальные отношения можно свести к рациональному экономическому расчёту, и писал, что человек превращается в «машину, усложненную счётными машинами» (С. 113–114). Когда в 1929 году Мосс подал заявку на создание в Париже центра социальных наук, Фонд Рокфеллера отверг её как «слишком абстрактную» и неспособную внести вклад в социальный контроль (С. 112). Леви-Стросс, напротив, иначе расставил акценты в наследии учителя. В введении к собранию сочинений Мосса (1950) он переинтерпретировал дар как проблему коммуникации, а самого Мосса представил как протоструктуралиста и предтечу кибернетики, «зачистив» его критику либерального технократического разума (С. 119–122).

Пятая глава переносит действие во Францию 1950–1960-х годов, где кибернетические идеи, адаптированные Леви-Строссом, начинают жить собственной жизнью в парижских интеллектуальных кру-

гах. Послевоенная Франция восстанавливалась после войны за счет плана Маршалла и технократических реформ, которые затрагивают и социальные науки. В этой атмосфере возникает структурализм как интеллектуальная мода, а затем и как поле критической рефлексии. Ключевыми институтами становятся исследовательские центры Шестой секции Практической школы высших исследований (та самая, которую помог создать Леви-Стросс при поддержке американских фондов). Там проходят семинары Лакана, Барта, Леви-Стросса, где кибернетический язык кодов, сообщений и адресатов перерабатывается в инструмент анализа культуры — от бессознательного до моды и литературы. Лакан, например, использует схемы Шеннона и машину «угадывания мыслей» из американской Bell Labs, чтобы показать: человеческая психика структурирована как язык, то есть как система кодов, которая всегда даёт сбой, производит шум, не поддается полному контролю (С. 145–147). Барт в «Мифологиях» и позднее в «S/Z» применяет понятие кода уже не как нейтрального инструмента передачи, а как орудия идеологии и одновременно пространства сопротивления: код всегда можно «взломать», прочитать против шерсти, обнаружить в нём множественность и противоречия (С. 158–164). К концу 1960-х возникает то, что автор называет «крипто-структурализмом»: мыслители вроде Кристевой и Бодрийера используют кибернетический аппарат, чтобы критиковать технократию, из которой он вышел (С. 164–167). Возникает парадокс: язык кодов становится одновременно и инструментом власти, и языком освобождения. Глава завершается наблюдением, что именно эта амбивалентность — умение видеть в любой системе и порядок, и шум — станет визитной карточкой того, что позже назовут французской теорией в англоязычном мире, хотя там этот политический и институциональный контекст будет во многом утерян (С. 168).

Заключение книги по форме напоминает манифест. Обращаясь к современности, Гейген фиксирует проблему в отношениях между гуманитарными учеными (human sciences) и исследователями больших данных. С одной стороны, адепты дата-аналитики критикуют науки о человеке за «устаревшие теоретические концепты», с другой — гуманитарии обвиняют количественные методы в «примитивном видении мира» (С. 172–175). Гейген не согласен с обеими позициями. Он напоминает, что кибернетика и структурализм уже были теми самыми теориями, которые устраняли это мнимое противоречие: они задали концептуальные рамки для анализа культуры через коды, паттерны и системы задолго до появления больших данных. В нынешнем мире тотальной дататификации, массовой слежки, отъема персональных данных и квантификации человеческой деятельности, гуманитарная наука, по мысли автора, не может просто отмахиваться от цифровых методов. Напротив, она должна дать свой ответ — опираясь на ту самую традицию, которая когда-то предвосхитила цифровую эпоху.

Критические замечания

Книга производит в некоторых отношениях смешанное впечатление. Прежде всего, заключение резко контрастирует со всем предшествующим изложением: нейтральный, академический стиль автора уступает место прямому призыву к действию. Сама по себе эта риторическая перемена не была бы проблематичной, если бы не противоречие с общей логикой повествования. Книгу можно прочитать как планомерное собрание улик против кибернетики. Предисловие открывается образом лагеря как одного из закрытых пространств, которому противостоит новая наука. Виннер, опасаясь, что кибернетика появится в мире, «где уже существуют Берген-Бельзен и Хиросима», сам впоследствии работал на военных, уничтоживших Хиросиму (С. 1–2). Бейтсон, сотрудничая с контрразведкой США, использовал кибернетические принципы для пропаганды против Японии (С. 66–67). Якобсон не скрывал своих антисоветских убеждений и применял кибернетику в качестве инструмента идеологической борьбы (С. 98–102). Леви-Стросс предстаёт в книге как проводник идей американских фондов во французской науке, противостоящий тем самым левым силам, которых эти фонды так опасались (С. 119, 131–132). Где же здесь место для нейтральной экспертизы, способной «решать проблемы»?

Во-вторых, книга уделяет непропорционально мало внимания роли государственных структур в развитии и финансировании кибернетики. Во главу угла поставлены частные фонды баронов-разбойников — институция, отсутствовавшая, например, в Советском Союзе или коммунистическом Китае. Однако это не помешало развитию там собственных версий кибернетики. Науки об управлении и информации оказались выгодны не только филантропам, но и государствам, заинтересованным в сохранении статус-кво и усилении контроля над гражданами через тотальную кодификацию всех сфер жизни. Вклад кибернетики в развитие таких технологий неоспорим. Колонии, клиники и лагеря — это не до-модерновые анклавы, до которых не добрался «прогресс». В некоторых отношениях лагерь, воплощённый в технократическом и абсолютно аполитичном бюрократическом аппарате, превзошёл кибернетику, выстроив беспристрастный механизм управления жизнями людей.

И в этом контексте финальный призыв автора выглядит, по меньшей мере, двусмысленно: нам предлагают разрабатывать схожие теории для современных IT-корпораций? Чтобы что? Вспомогательные отрывки из Василия Тёркина:

«Это вроде как машина
Скорой помощи идёт:
Сама режет, сама давит,
Сама помощь подаёт.»
(Твардовский, 1964: 61).

Это не попытка демонизировать кибернетиков, среди которых были и те, кто боролся с негативными структурами, например, Лэйнг. Но любой исследователь, работающий с большими данными, волей-неволей льёт воду на чью-то мельницу. Гейген верно фиксирует проблему: гуманитарные учёные отказываются от работы с определенными типами данных. Однако перед началом этой работы исследователю стоило бы ответить на несколько вопросов: на кого в конечном счёте вы работаете? Кто и как будет пользоваться результатами вашего труда? И возможно ли вообще построить влиятельную научную область без государственного заказа или огромных частных вливаний?

Почему стоит читать?

Может показаться, что предложенный пересказ приближается к дословному изложению книги, это совсем не так. За рамками этого краткого обзора остались десятки важных фигур, мелькающих на страницах монографии: Уивер, Шеннон, Бенедикт, фон Нейман, Деррида и многие другие, кого оказалось невозможно встроить в жанр рецензии. Не нашлось здесь места и для увлекательных сюжетов, которыми насыщена книга: например, как Леви-Стросса едва не развернули на границе США, заподозрив в нём шпиона, или как современники воспринимали зашифрованные лекции Лакана. Работа Гейгена выходит за рамки интеллектуальной истории, превращаясь в захватывающее приключение идей, вызревавших в конкретных людях и преломлявшихся сквозь оптику различных институций. И хотя письмо автора местами кажется тяжеловесным, это не делает его менее увлекательным.

А. А. Суворов

Литература

1. Арендт, Х. Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме / Ханна Арендт; перевод с английского Сергея Кастальского и Наталы Рудницкой. Москва: Европа, 2008. (Холокост).
2. Твардовский А. Т. Теркин на том свете / А. Т. Твардовский. Москва: Советский писатель, 1964. С. 61.

Для цитирования: Суворов, А.А. [Рец.] Geoghegan, B. D. Code: from information theory to French theory. Durham: Duke university press. 2022 // Пути России. 2026. Т. 4. № 1. С. 149–155.